

Александр Восьмой

Коса 4. «Лесник, который
не отбрасывает тень»

18+

Александр Восьмой

**Коса 4. «Лесник, который
не отбрасывает тень»**

«Автор»

2026

Восьмой А.

Коса 4. «Лесник, который не отбрасывает тень» / А. Восьмой — «Автор», 2026

В глухой чаще живёт лесник — добрый старик, что подкармливает зверей зимой и лечит сломанные крылья птицам. Все его любят. Все, кроме одной девочки, которая однажды в солнечный полдень заметила: лесник не отбрасывает тень. А звери, которых он «лечит», после встречи с ним становятся ручными навсегда — с мутными глазами и тихим, ровным дыханием мёртвых.

© Восьмой А., 2026

© Автор, 2026

Александр Восьмой

Коса 4. «Лесник, который не отбрасывает тень»

Глава 1. Тот, кто кормит зверей

Зима в деревне Тихий Бор длинная, как долгий вдох. Она не просто приходит — она оседает на крышах тяжёлым слоем и замирает, будто прислушивается к каждому стуку сердца. Лесник Ефим живёт на самом краю, где тайга смыкается над крышей, как сложенные в молитве ладони. Из трубы его избышки тянется дым — единственный живой след в этой застывшей картине.

Все в деревне любили Ефима. Дети бежали к нему, едва завидев высокую фигуру в потрёпанной шубе. Он всегда нёс с собой мешочек с зерном, горсть сухарей, кусок вяленой рыбы — всё, что мог сберечь для своих «подопечных». Говорили, что у него рука лёгкая: если Ефим погладит по голове — хворь уйдёт, если шепнет слово — собака перестанет выть, а ребёнок — плакать. Он лечил сломанные крылья птицам, перевязывал лапы зайцам, грел в ладонях замёрзших белок. И звери шли к нему сами — не из страха, а будто знали: здесь тепло, здесь безопасно.

Но была в деревне одна девочка — Марька. Маленькая, с глазами, в которых всегда плескался вопрос. Она любила лес, но не любила тишину, которая становилась слишком густой возле дома лесника. И однажды, в редкий солнечный полдень, когда снег сверкал так, что слепило глаза, Марька заметила то, от чего у неё похолодели пальцы.

Ефим стоял у поленницы, протягивал лосю кусок чёрного хлеба. Солнце било прямо в спину старику, заливало поляну золотом, рисовало длинные тени от елей и даже от сухой ветки, лежащей на снегу. Но у Ефима тени не было. Ни намёка. Ни тонкого контура. Ни размытого пятна. Только свет, который будто стекал по его фигуре и исчезал, не оставляя следа.

Марька замерла, прижав варежку ко рту. Ей хотелось закричать, позвать маму, броситься прочь — но ноги будто вросли в снег. А потом она посмотрела на лося. Огромный, могучий зверь стоял, склонив голову, и жевал хлеб с той же покорной неторопливостью, с какой овца щиплет траву у забора. Его глаза были мутными, словно затянутыми тонкой плёнкой, а дыхание — ровным, тихим, почти неслышным. Как у того, кто давно перестал бороться.

И тут Марька поняла: звери, которых «лечил» Ефим, не просто становились ручными. Они становились... другими. В них исчезала дикость — та самая искра, что заставляет зайца мчаться через поле, а волка — выть на луну. Вместо неё появлялась странная, пугающая покорность. Они не боялись ни людей, ни огня, ни даже собственной боли. Они просто... соглашались.

Вечером, когда солнце провалилось за кромку леса, а тени вытянулись и слились в одну тёмную реку, Марька тихо спросила у мамы:

— Мам, а почему у дяди Ефима нет тени?

Мать вздрогнула, будто дочь ударила её словом. Лицо её на миг стало чужим, жёстким, а потом снова смягчилось.

— Ты, наверное, просто солнце слепило, доченька. Или тень упала за поленницу. Не выдумывай.

Но Марька знала, что не выдумывала. Она видела. И теперь каждый раз, когда в деревне говорили: «Какой же добрый наш Ефим!», в груди у неё сжималось что-то холодное и острое, как льдинка.

А ночью, когда деревня уснула под тяжёлым одеялом тишины, из леса донёсся звук — не вой, не крик, а что-то среднее. Длинный, тягучий стон, будто кто-то звал на помощь, но уже не надеялся, что его услышат. И в ответ на этот зов из темноты, из самой глубины чащи, тихо скрипнула дверь избышки лесника.

Глава 2. Девочка, которая смотрела на землю

Соня любила полдень — тот короткий миг, когда солнце, будто устав от собственной тяжести, замирало в зените и рассыпало по снегу ослепительные искры. В такие минуты она играла в «тени»: чертила прутиком силуэты елей, ловила краем глаза, как они ползут по белому полю, будто живые, и шептала им имена. Для Сони тени были не просто тёмными пятнами — они были следом жизни, её отпечатком, доказательством, что ты есть, что ты дышишь, что мир тебя чувствует.

В тот день снег был особенно чистым — как страница, на которой ещё никто не написал ни слова. Соня присела на корточки, провела пальцем по хрустящей корочке, вывела контур старой берёзы — и вдруг замерла.

Мимо прошёл Ефим.

Он шагал неторопливо, привычно, с тем самым спокойным достоинством, с каким ходят люди, уверенные, что лес их знает и не обидит. На плече у него висел мешок с кормом, в бороде запутались снежинки, а из-под шапки выбивалась седая прядь. Дети в деревне говорили: «Дядя Ефим — добрый». Взрослые кивали: «Рука у него лёгкая, звери к нему сами идут».

Но снег под ним оставался нетронутым.

Не было ни следа сапога, ни вмятины от мешка, ни даже лёгкого примятия, какое остаётся от дыхания в мороз. И главное — не было тени. Ни тонкой полоски, ни размытого контура. Солнце било прямо в спину лесника, заливало его светом, но не оставляло за ним никакого следа. Как будто он шёл не по земле, а сквозь неё.

Соня сжала пальцы в кулаки так, что ногти впились в ладони. Ей хотелось закричать: «Смотрите! Смотрите все!» — но голос застрял где-то в горле, тяжёлый и колючий, как льдинка. Вместо этого она наклонилась и провела пальцем по тому месту, где только что прошёл Ефим. Снег был ровным, нетронутым, будто здесь никто и не ходил.

А потом она подняла глаза на лося, который стоял у опушки. Он смотрел прямо на неё — или, вернее, сквозь неё. Его глаза были мутными, словно затянутыми тонкой пеленой, а дыхание — ровным, тихим, без единого всхлипа, без дрожи. Таким дыханием дышат те, кто уже перестал бояться. Те, кто смирился.

Соня вспомнила, как неделю назад этот лось выл на луну — низко, протяжно, так, что у собак в деревне шерсть вставала дыбом. Теперь он стоял неподвижно, склонив голову, и смотрел на лесника с той покорной преданностью, с какой ребёнок смотрит на строгого, но любимого родителя.

«Он их не лечит, — вдруг поняла Соня. — Он их... забирает».

Она не знала, что именно забирает Ефим — их страх, их ярость, их дикость... или что-то большее. Но теперь она видела: звери, которых он «спасал», становились ручными не от доброты, а от чего-то другого. От пустоты, которая тихо заполняла их изнутри, как туман заполняет долину перед рассветом.

Солнце начало клониться к закату, и тени вокруг стали длиннее, гуще, темнее. Они тянулись к дому лесника, будто хотели обнять его, спрятать, защитить. Но тень Ефима так и не появилась.

Вечером, когда деревня укуталась в тишину, а дым из труб стал единственным движением в застывшем мире, Соня села на крыльце, подтянула колени к груди и прошептала в темноту:

— Если у него нет тени... значит, он не отбрасывает свет.

И в этот момент из глубины леса донёсся тихий, ровный звук — не вой, не крик, а что-то среднее. Будто кто-то звал на помощь, но уже не надеялся, что его услышат. И где-то далеко, за деревьями, скрипнула дверь избушки.

Глава 3. Ручные

Тропа, по которой Соня бегала с самого детства, теперь казалась ей чужой. Каждый сугроб будто притаился, каждый сухой сук походил на вытянутую руку, а тени от елей — на длинные, неровные шрамы на белом полотне снега. Соня шла, не поднимая головы, и всё время смотрела вниз — не на свои следы, а на то, как земля принимает шаги, как снег чуть оседает, как ломается тонкая ледяная корка. Для неё это стало мерилom реальности: если есть след — значит, мир настоящий. Если есть тень — значит, ты живой.

И потому, когда она увидела лису, лежавшую у поваленной сосны, её сердце сначала подпрыгнуло от радости. Лиса! Настоящая, рыжая, будто кусочек заката, забытый в этом сером лесу. В прошлом году Соня видела, как Ефим укутывал эту самую лису в старое одеяло, шептал что-то, гладил по голове, а потом велел детям не шуметь — мол, зверю нужно отдохнуть. Тогда все кивали, улыбались, говорили: «Вот ведь человек какой, даже дикого зверя не бросит».

Теперь Соня не улыбалась.

Лиса лежала неподвижно, вытянув лапы, словно отдыхала после долгой погони. Но не было в ней ни напряжения, ни готовности вскочить и метнуться прочь. Не было даже того едва уловимого трепета, который всегда выдаёт живое существо, даже спящее. И самое главное — она не убегала. Даже когда Соня подошла почти вплотную, даже когда хрустнула ветка под сапогом, даже когда снег осыпался прямо на лисий бок.

Соня присела на корточки, не сводя глаз с зверя. Лиса смотрела прямо перед собой — не на девочку, не сквозь неё, а куда-то дальше, туда, где лес становится бесконечным и безмолвным. Её глаза были как мутное стекло: в них не отражался ни снег, ни небо, ни сама Соня — ничего. Будто внутри них застыла тонкая, непрозрачная пелена, скрывающая всё, что когда-то делало лису лисой: её хитрость, её страх, её жажду жизни.

Девочка протянула руку — медленно, будто боялась спугнуть тишину. Пальцы коснулись рыжего меха. Он был тёплым. Не просто тёплым — горячим, как будто внутри зверя тлел маленький, упрямый уголёк. И тут Соня почувствовала ещё кое-что: едва уловимое, ровное движение под шерстью. Сердце. Оно билось — но не так, как должно биться у дикого зверя, загнанного лесом и зимой. Не быстро, не отчаянно, не в ритме побега. А медленно, размеренно, с пугающей точностью. Как маятник в пустой комнате — тик... так... тик... так... — будто отсчитывал не секунды, а что-то гораздо более тяжёлое.

— Ты меня слышишь? — прошептала Соня, сама не зная, к кому обращается — к лисе или к лесу, или к той невидимой силе, что сделала зверя таким. — Ты ведь меня видишь?

Лиса не моргнула. Не шевельнулась. Только это ровное, упрямое биение продолжало звучать под пальцами, напоминая о том, что жизнь ещё держится, но уже не принадлежит самой лисе.

Соня вспомнила, как раньше лисы исчезали в подлеске за долю мгновения, как их хвосты мелькали между деревьями, как они оставляли на снегу цепочку лёгких следов и больше не возвращались. Теперь же перед ней лежало существо, которое не хотело бежать. Которое не могло.

«Он их не лечит, — снова пронеслось в голове, острым и холодным, как ледяной ветер. — Он их делает ручными. Навсегда».

Словно подтверждая эту мысль, лиса чуть повернула голову — не резко, не по-звериному, а так, будто кто-то осторожно повернул её, как заводную игрушку. Движение было неестественно плавным, почти механическим. И в этом движении не было ни любопытства, ни страха — только покорность. Та самая, что пугала Соню сильнее любого рычания.

Где-то далеко, в глубине леса, хрустнула ветка. Звук был резким, чужим в этой застывшей тишине. Лиса не вздрогнула. Не повернула ушей. Только её глаза — эти мутные, пустые окна — чуть сдвинулись, будто прислушиваясь к чему-то, чего Соня не могла услышать.

А потом из чащи донёсся тихий, ровный зов — не голос, не крик, а что-то среднее. Будто кто-то звал своих, но уже без надежды на ответ. И в такт этому зову сердце лисы снова ударило — медленно, уверенно, безжалостно. Тик... так...

Соня отдёрнула руку и попятилась, пока не упёрлась спиной в ствол сосны. Снег колол сквозь ткань куртки, но она не чувствовала холода. Она смотрела на лису и понимала: это не спасение. Это не доброта. Это что-то другое — тихое, терпеливое, неотвратимое, как сама зима.

Когда солнце коснулось верхушек деревьев и длинные тени потянулись через лес, будто чёрные реки, Соня встала и пошла прочь. Она не оглядывалась. Но чувствовала спиной этот неподвижный, пустой взгляд. Чувствовала, как он провожает её, не желая, не ненавидя, не любя — просто следуя приказу, который она не могла услышать, но который звучал в каждом ровном ударе лисьего сердца.

Тик... так... Тик... так...

Глава 4. Крылья

В тот день мороз стоял такой, что даже воздух казался твёрдым — он не плыл, не колыбался, а лежал на деревне плотным, звенящим покрывалом. Солнце висело в небе, бледное и равнодушное, будто забыло, как греть. Дети сбились у старого забора на краю деревни — кутались в шарфы, прятали носы в рукава и смотрели, как из леса выходит Ефим.

Он шёл медленно, бережно прижимая к груди свёрток из мешковины. Ткань едва заметно шевелилась — и от этого движения у ребят замирало сердце: внутри было живое. Когда Ефим подошёл ближе, мешковина приоткрылась, и все увидели тёмные перья и острый, крючковатый клюв. Это была сова — большая, с янтарными глазами, которые теперь были прикрыты, будто птица решила ни на что не смотреть. Одно крыло висело неестественно, перебитое, сломанное — видно было даже отсюда, сквозь морозную дымку.

— Дядя Ефим, она умрёт? — выкрикнул Петька, самый смелый из мальчишек.

Ефим не обернулся, но голос его прозвучал ровно, спокойно, как всегда:

— Не умрёт. Я её подлечу. У меня рука лёгкая.

И он прошёл мимо, а дети остались стоять, вдыхая ледяной воздух и переглядываясь. В этих переглядах было и восхищение — вот ведь человек, даже дикую птицу не бросает, — и лёгкий холодок, который никто не решался назвать страхом.

Соня стояла чуть поодаль, не в толпе, а в стороне, где тень от забора падала на снег длинной чёрной полосой. Она смотрела не на Ефима, не на сову — она смотрела на землю у его ног. И снова не было тени. Ни намёка. Как будто свет обходил его стороной, не желая оставлять след.

На следующее утро сова сидела на ветке у окна избушки. Не на жердочке внутри, не в тепле — снаружи, прямо на голой ветке, покрытой инеем. Она не шевелилась. Не моргала. Перья её были распушены, будто она пыталась удержать тепло, но в этом не было ни усилия, ни борьбы. Она просто сидела — неподвижная, как вырезанная из дерева.

Дети прибежали снова, на этот раз с хлебом и семечками.

— Давай ей скормим! — шептал Петька. — Может, она проголодалась!

Они протягивали угощение, махали руками, звали: «Эй, совушка, ну хоть клюнь!» Но сова не смотрела на них. Её глаза были открыты, но в них не было ни интереса, ни страха, ни голода — только ровная, пустая тишина, как в комнате, из которой давно ушли все звуки.

Третий день. Сова всё так же сидела на ветке. Ветер трепал её перья, но она не пыталась укрыться, не прижимала крылья, не вздрагивала. Она будто не чувствовала холода. Или забыла, что его нужно бояться.

Четвёртый день. Кто-то из взрослых сказал: «Наверное, она просто отдыхает. Ефим знает, что делает». И все кивали, потому что так было проще — верить, что всё правильно, что старик спасает, а не забирает.

Неделя. Сова не ела. Не пила. Не кричала. Не поворачивала головы. Она сидела, как часовой, поставленный на пост, откуда нет возврата. Её крылья — то самое, что делало её совой, что позволяло ей летать над лесом, видеть добычу в темноте, уходить от опасности — теперь лежали тяжёлыми, безжизненными лоскутами. Даже сломанное крыло будто перестало болеть — не потому что зажило, а потому что чувство ушло.

Однажды вечером, когда солнце уже скрылось за лесом, а тени стали длинными и чёрными, Соня подошла к ветке, на которой сидела сова. Она встала прямо под ней, подняла голову и прошептала:

— Ты меня слышишь? Хоть моргни, если слышишь.

Сова не моргнула. Но её глаза — эти янтарные, когда-то живые глаза — чуть сдвинулись, будто прислушались к чему-то, чего Соня не могла услышать. И в этом движении не было жизни — только отклик. Как будто кто-то дёрнул за невидимую нить.

Из избушки вышел Ефим. Он остановился рядом с Соней, посмотрел на сову, потом на девочку — и улыбнулся той самой доброй, спокойной улыбкой, которой все так доверяли.

— Не бойся, — сказал он. — Она теперь в безопасности. Больше ей не нужно никуда лететь.

Соня сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. «Не нужно лететь» — эти слова звучали в её голове, как приговор. Потому что летать — это и значит быть живым. А та, что сидит на ветке, не летает. И не хочет.

Ночью, когда деревня уснула, а лес наполнился тишиной, в которой слышно, как падает каждая снежинка, Соня лежала с открытыми глазами и слушала. И вдруг — совсем тихо, едва уловимо — до неё донёсся звук. Не крик совы, не хлопанье крыльев, а что-то другое. Будто кто-то провёл пальцем по стеклу — длинный, тонкий, скребущий звук, от которого по спине бежали мурашки.

А утром сова всё так же сидела на ветке. Не шевелилась. Не моргала. Не ела.

Она не умирала. И не жила.

Она просто была. Как вещь. Как предмет. Как тень, у которой нет хозяина.

Глава 5. Что рассказал дед Матвей

В деревне Тихий Бор старики не любили говорить о лесе. Не потому что нечего было сказать — а потому что слова будто цеплялись за ветки и оставались там, в темноте, где их кто-то слушал. Но Соня знала: если хочешь услышать правду, иди к деду Матвею. Он жил на отшибе, в покосившейся избушке, где пахло смолой, старым железом и дымом, который помнил ещё довоенные зимы. Он был единственным, кто не кивал при имени Ефима, не улыбался и не говорил: «Какой же он добрый».

Соня пришла к нему под вечер, когда солнце уже легло на крыши, как тяжёлое одеяло, и тени вытянулись так, что казалось — они хотят дотянуться до леса и утащить его ближе к домам. Дед сидел на крыльце, чинил сеть, пальцы у него были узловатые, будто корни старого дерева, а взгляд — острый, привыкший замечать то, что другие не видят.

— Дед Матвей, — тихо сказала Соня, не решаясь подняться на ступеньку. — А раньше... раньше тут тоже был лесник?

Матвей не поднял головы. Только пальцы его на миг замерли над узлом, а потом снова задвигались — медленно, уверенно.

— Был, — ответил он глухо, будто выталкивал слово сквозь что-то тяжёлое. — И до него был. И до того — ещё один. Цепочка такая, длинная. Как тропа, только невидимая.

Соня сжала варежки в кулаки.

— А они... они тоже зверей кормили? Лечили?

Матвей наконец поднял глаза. В них не было ни злости, ни жалости — только усталость, какая бывает у тех, кто слишком долго носил одну и ту же правду.

— Кормили, — сказал он. — Лечили. Всё как сейчас. Только... — он помолчал, будто подбирая слово, которое не испортит воздух. — Только они не отбрасывали тени. Ни один.

У Сони внутри всё похолодело, будто кто-то плеснул ледяной воды прямо в грудь.

— Как это? — прошептала она. — Совсем?

— Совсем, — кивнул Матвей. — Солнце светит, снег блестит, деревья рисуют длинные полосы на белом — а у лесника пусто. Будто его и нет. Или будто он не из этого мира.

Соня вспомнила лису — тёплую, но неподвижную, с глазами из мутного стекла. Вспомнила сову, которая сидела на ветке, не моргая, не дрожа, не желая жить и не умирая.

— А куда они потом девались? — спросила она, голос дрогнул, но она не дала ему сломаться. — Те, прежние лесники?

Матвей отложил сеть. Пальцы его замерли, тяжёлые, неподвижные. Он посмотрел куда-то мимо Сони, туда, где лес подступал к деревне, как тёмная волна.

— Уходили, — сказал он тихо. — В чащу. Не по делу, не за зверем, не по тропе. Просто шли — и не возвращались. Никто не кричал, никто не звал. Просто однажды утром их не было. Будто лес забрал своё.

Соня почувствовала, как мороз пробирается под куртку, как он ползёт по спине, холодный и настойчивый.

— И никто не пошёл за ними? — спросила она.

Матвей горько усмехнулся — так усмеваются те, кто знает, что спрашивать бесполезно.

— Кто пойдёт? — сказал он. — Все думали: устал человек, ушёл искать новое место. Или просто в тайгу подался. А потом приходил новый. Такой же спокойный. Такой же добрый. И снова кормил зверей, снова шептал им что-то, снова делал их ручными. И не отбрасывал тени.

Он замолчал. И в этой тишине стало слышно, как скрипит на ветру старая сосна, как где-то далеко хрустнула ветка, как деревня дышит — медленно, осторожно, будто боится разбудить что-то спящее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.